

Последняя партия

Дарья Крылова

18+

Дарья Крылова

Последняя партия

«Автор»

2026

Крылова Д.

Последняя партия / Д. Крылова — «Автор», 2026

Санкт-Петербург, 1885 год. Молодая балерина Софья Петровская стоит на коленях на холодном полу с осколком зеркала в руке — и зовёт в темноту. Темнота отвечает. Сделка проста: душа в обмен на вечную жизнь, совершенство в танце и любовь. Условие одно — душа перейдёт во владение Тьмы в момент исполнения «Жизели» на пике мастерства. Нью-Йорк, 2025 год. Легендарная Софи Лерман владеет балетной школой, не стареет и не танцует «Жизель». Из тьмы за ней наблюдает древний, холодный, невыносимо знакомый мужчина. Между бессмертием и любовью. Между сделкой и свободой. Между женщиной, которая поверила в то, что она «недостаточна» — и той, которой она была, просто не знала. «Последняя партия» — роман о том, что иногда ста сорока лет не хватает, чтобы научиться любить себя. И о том, что танец, который она откладывала, может стать началом, а не концом.

© Крылова Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Глава | 5 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 34 |

Последняя партия

Глава

Посвящение

Эту историю я хочу посвятить женщинам, кто умеет любить так громко, что это эхом разносится сквозь годы. Тем, чьи слёзы солонее моря, а смех — ярче солнца.

Вам, чьи сердца однажды разбили, заставив собирать осколки ночами, пока мир видел лишь улыбку. Вам, чью душу выворачивали наизнанку, пытаясь убедить, что ваша суть — быть удобными, тихими и вас «недостаточно».

Остановитесь на миг. Выключите этот громкий внутренний голос критика.

Ваша доброта — это не слабость.

Ваша боль — это не клеймо.

Ваше сердце, даже побитое жизнью, продолжает биться в ритме надежды.

Вы есть.

Прямо здесь, прямо сейчас.

Со всей своей усталостью, со всей своей силой, со всей своей невероятной, оглушительной красотой.

Вы есть.

И этого уже — достаточно.

Софи Лерман

Плейлист

Dark Paradise - Lana Del Rey

Lovely - Billie Eilish

Never let me go - Florence + The machine

Together we will live forever - clint mansell

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Нью-Йорк, весна 2025 года

Центральный парк встречает меня запахом свежей травы. Ночь прошла с дождём, но к восьми утра небо прояснилось, и теперь сквозь ещё влажные ветки пробиваются лучи солнца.

Мои кроссовки бесшумно ступают по ещё сырому асфальту. Рядом, чуть впереди, бежит золотистый ретривер по кличке Друг, три года назад я решила, что жизнь в одиночестве совсем невыносима, и я заслуживаю иметь настоящего друга, поэтому так и назвала его, и теперь мы коротаем дни вместе. Он не на поводке, потому что умнее большинства людей, которых я встречала. Знает, где можно нюхать, а где не стоит. Даже знает, когда я хочу молчать, а когда говорить или играть с ним.

Утро в парке — это единственное время, когда Нью-Йорк не давит. Даже воздух кажется мягче, хотя город никогда не бывает по-настоящему тихим. Где-то далеко гудит метро, над кронами деревьев проносится вертолёт, а бегун в синей ветровке обгоняет меня слева, даже не взглянув.

Друг вдруг останавливается, принохивается к кусту. Я тоже останавливаюсь и смотрю на небо, высокое, бледно-голубое, с редкими облаками, похожими на вату.

Сколько таких утр я видела?

Не считала. Перестала считать где-то в середине прошлого века. Когда поняла, что счёт не имеет смысла, всё равно не останавливается.

Мне было двадцать, когда мир для меня как и мой возраст замер.

Иногда я думаю, что это самый странный возраст для вечности. Ни юность, ни зрелость. Порог.

— Друг, идём. Мне было двадцать, когда мир для меня как и мой возраст замер.

Он поднимает голову, смотрит на меня преданными карими глазами и бежит дальше.

Мы выходим из парка у Шестьдесят пятой улицы. Здесь уже начинается город совсем другой, плотный и деловой. Здания смыкаются над головой, закрывая небо. Шум нарастает: гудки такси, звук каблучков по бетону и утренние разговоры по телефону.

Балетная школа Софи Лерман находится на углу Шестьдесят пятой и Мэдисон-авеню. Два этажа в старом здании из песчаника, которое я выкупила десять лет назад. Фасад отреставрировали, оставив лепнину и высокие арочные окна, но внутри всё переделала под себя.

Парадная дверь — тяжёлая, из тёмного дуба, с бронзовой массивной ручкой. Моя причуда. Диана говорит, что это выглядит «слишком театрально». Я отвечаю, что вся жизнь — театр.

Внутри было прохладно и тихо. Ресепшен встречает меня приглушённым светом бра и запахом воска для паркета. Стены выкрашены в цвет слоновой кости. На них — афиши школы и фотографии знаменитых русских балерин, но нет ни одной моей. Я не вешаю свои портреты в собственной школе, даже свежие. Вместо этого — старые фотографии: Павлова в «Сильфиде», Уланова в «Ромео и Джульетте», Нуреев в прыжке, застывший навсегда.

Напротив ресепшен стоял низкий диван из тёмно-синего вельвета, а на столике стопка старых номеров «Dance Magazine» и ваза со свежими цветами.

— Софи, привет!

Диана выходит из-за стойки. Ей двадцать пять лет, русые волосы зачёсаны в идеальный пучок, серые глаза сияют. Она работает моей помощницей уже три года, но до сих пор смотрит на меня с тем особенным выражением, которое я не могу до конца расшифровать. То ли обожание, то ли благодарность. Одним из её преимуществ перед всеми другими кандидатками на вакансию было то, что всего пять лет назад она эмигрировала из России и в ней я видела то, чего не было в других — русскую душу, родину.

— Привет. — Она достаёт угощение и треплет пса за ухом, когда тот подбегает.

Я прохожу дальше, в фойе. Оно просторное, с высоким потолком и роскошной люстрой из матового стекла. Пол — тёплый, светлый дуб. Зеркала во всю стену, но не вульгарные, не театральные, а строгие, в простых деревянных рамах.

За фойе находились два репетиционных зала. Один для младших классов, с мягкими матами и низкими станками, а второй для старших, с профессиональным покрытием Harlequin, окнами от пола до потолка и роялем в углу. Мой чёрный рояль «Steinway», который я не настраиваю уже три года. Он молчит, накапливая в своих струнах тишину моих репетиций. Три года я уже не танцевала, и ровно столько же на нём никто не играл.

— Софи, — Диана идёт за мной, держа в руках планшет и папку с бумагами. — Вот документы на подпись. Спонсорский контракт с фондом «Искусство детям». Всё, как ты просила: никаких фотографий, никаких интервью. Только название школы на афишах.

Я беру папку, пробегаю глазами первые страницы. Всё правильно. Юристы у меня хорошие хоть и дорогие, но хорошие, я научилась не экономить на тех, кто защищает меня от мира.

— И ещё, — голос Дианы становится чуть виноватым, — снова этот журналист.

Я поднимаю глаза.

— Лиам Рид. — Она протягивает конверт. Тяжёлая кремовая бумага, на которой моё имя выведено аккуратным, твёрдым почерком. — Уже третье письмо за две недели. И электронная почта... я не показывала тебе, потому что ты просила фильтровать, но он написал ещё восемь писем за последний месяц. Очень настойчивый.

Я беру конверт. Не вскрываю. Верчу в пальцах.

— Что он хочет?

— Издать книгу-биографию о тебе. Говорит, что хочет написать правдивую историю. Что ты — «величайшая загадка американского балета», и что публика имеет право знать о тебе больше. Но если книга кажется тебе чем-то слишком, то просит дать ему шанс хотя бы на интервью.

— Публика, — повторяю я. — Публика всегда хочет знать. Особенно то, что её не касается.

Диана молчит. Она знает, что я не люблю журналистов. Знает, что в Америке я дала ровно три интервью, и все они были краткими, холодными и оставили у интервьюеров чувство, что они разговаривали со статуей.

— Хочешь, чтобы я ответила отказом? — осторожно спрашивает она.

Я смотрю на конверт. Красивая бумага. Твёрдый почерк. Столько отказов, но он продолжает настаивать на своём. Горит своей идеей и делом. Это мне знакомо.

— Положи на стол в моём кабинете, — говорю я. — Я подумаю.

Диана кивает, но я вижу в её глазах удивление.

Утро пролетает в делах. Сначала занятия с младшими — девочки от семи до десяти, такие серьёзные в своих розовых лосинах и балетках, будто от каждого плие зависит судьба мира. Я люблю этот возраст. Они ещё не знают, что балет — это боль, конкуренция и бесконечные компромиссы с собственным телом. Для них это просто игра. Красивая музыка и возможность кружиться, пока не закружится голова.

После младших — перерыв. Я пью зелёный чай в своём кабинете, глядя на Мэдисон-авеню. Внизу снуют люди, спешат по своим делам. Никто не смотрит вверх. Никто не знает, что над ними — женщина, которая помнит запах петербургских мостовых при газовых фонарях и звук трамваев на бульваре Сен-Жермен.

Друг лежит у моих ног, положив морду на лапы. Иногда вздыхает, будто разделяет мои мысли. Может быть, так и есть. Собаки — единственные существа, которые умеют молчать вместе с тобой.

В четыре — старшая группа. Девочки от четырнадцати до восемнадцати. Серьёзные, худые, с вытянутыми шеями и острыми лопатками. Некоторые уже подписали контракты с труппами, кто-то ещё сомневается, стоит ли продолжать.

— Сегодня работаем над арабеском, — объявляю я, оглядывая девочек. — Линия. Всё решает линия. От кончиков пальцев до макушки — одна прямая, как стрела. И не думайте о том, как это красиво. Думайте о том, как это бесконечно.

Они кивают, и я включаю музыку.

Я хожу между ними, поправляя руки, опуская плечи, поднимая подбородки. Касаюсь их спин — живых, горячих, покрытых мелкой дрожью напряжения.

— Хорошо, — говорю я в конце. — Вы всё большие молодцы.

Они расходятся, шепчутся, смеются. Одна остаётся — Эмма, ей всего семнадцать лет, с ногами, которым позавидовала бы сама Плисецкая.

— Софи, — говорит она, подходя ближе. — Можно задать вам вопрос?

— Конечно.

— Вы как-то на занятиях говорили, что есть только одна постановка, которую вы никогда не исполняли — «Жизель». Это потому что она про смерть?

В зале повисает тишина. Я смотрю на Эмму. В её глазах, простое, почти наивное недоумение. Для неё «Жизель» — это красивая трагическая сказка. Романтический балет про любовь и прощение. Она не понимает, как можно танцевать всё, и остановиться перед этой партией.

Для неё это слишком грустно, наверное. Слишком мрачно. Как постановка, которую выбирают, когда хотят показать, что балерина умеет страдать красиво.

— Не потому что она про смерть, Эмма, — отвечаю я тихо. — А потому что она про предательство, которое принимают как единственно возможный путь. И про любовь, которая прощает то, что прощать нельзя.

Она хмурится, силясь понять.

— Звучит... очень печально.

— Да, — киваю. — Очень. Поэтому я и не танцую её. Некоторые партии лучше оставить тем, кто ещё верит, что смерть — это красивая драма. А не просто... конец.

Я смотрю на свою руку. На тонкую серебристую точку на запястье.

Эмма молчит. Потом кивает, будто приняла что-то для себя, и уходит. Диана провожает её взглядом, потом переводит его на меня.

— Жёстко, — тихо говорит она.

В шесть часов вечера Диана наконец закрывает свой ноутбук и потягивается.

— Софи, может, поужинаем? Я знаю одно место на Лексингтон-авеню, там такие тако... .

— Тако? — я поднимаю бровь.

— Да, самое настоящее мексиканское тако, пальчики оближешь!

Я смеюсь. Диана — единственный человек, который умеет разряжать моё напряжение, но при этом она не переходит на панибратство. Она держит дистанцию, но эта дистанция, очень хрупкая. Хоть я и стараюсь не привязываться к людям, но Диана мне так нравится, что с ней я готова переступить черту между рабочими и дружескими отношениями.

— Хорошо, — соглашаюсь я. — Идём, но только если они дог-френдли.

Через десять минут мы выходим из школы. Вечерний Манхэттен — совсем не такой, как утром. Огни зажигаются постепенно, воздух пахнет выхлопными газами, жареным луком из фудтрака и — далеко, едва уловимо — рекой.

Молодой мужчина стоит прямо у входа, прислонившись к стене. Мое внимание сразу привлекает то, что он не курит, не смотрит в телефон. Просто ждёт. В его руках — папка, слегка потертый, но при этом дорогой кожаный рюкзак у ног.

Он замечает меня и тут же выпрямляется.

— Мисс Лерман, — говорит он. Голос спокойный, без той дешёвой подобострастности, которой грешат обычно люди при виде меня. — Я Лиам Рид.

Глаза Дианы округляются, когда она понимает, что это тот самый журналист, который атакует нашу почту. Она ловит мой взгляд, чтобы вызвать охрану, но я незаметно мотаю головой.

— Добрый вечер, мистер Рид.

Он улыбается. В уголках карих глаз появляются морщинки.

— Я писал вам письма, но вы не ответили ни на одно из них, поэтому я решил дождаться вас и всё же узнать ваш ответ.

— Подкараулить это называется, — достаточно тихо шепчет Диана, укутываясь в свой шарф, но при этом её слова звучат чётко.

— Ну, или так, да. — тут же соглашается с ней Лиам и снова улыбается.

Я молчу. Разглядываю его. Каштановые волосы, небрежные, будто он провёл по ним рукой и забыл про причёску. Кожа немного смуглая, но не южная — скорее, он совсем недавно был на отдыхе. Глаза карие, острые, внимательные.

— Вы настойчивы.

— Я просто делаю всё, что в моих силах. И, может быть, однажды вы согласитесь.

Диана за моей спиной тихо кашляет. Я чувствую её напряжение — она не любит, когда к нам вот так подходят на улице. Но терпеливо ждет моего решения.

— Завтра, — говорю я наконец. — В десять утра. У нас будет ровно час.

Его лицо не меняется. Ни тени торжества, ни облегчения. Только спокойная, твёрдая благодарность.

— Хорошо, я понял. Спасибо!

Он кивает, подхватывает рюкзак и уходит. Быстро, без лишних слов, даже не оглядывается.

— Ты серьёзно? — Диана смотрит на меня округлившимися глазами. — Ты согласилась на интервью? Мы в прошлом месяце отказали «Vogue»!

— Посмотрим, чего он стоит. — Отвечаю я, цепляя Друга на поводок. — Поверь, «Vogue» мой отказ ничего не стоил, они забыли о нем через пять минут. Но если Лиам Рид талантлив точно так же, как и настойчив, лучше дать шанс ему.

— А если не талантлив?

— Если не талантлив, то никакого интервью не будет.

— Софи...

— Идём. Я обещала тебе тако.

Ресторан оказывается маленьким, почти камерным, с деревянными столами и свечами в стеклянных стаканах. Тако здесь, действительно, очень вкусный.

— Он симпатичный, — говорит Диана, вытирая губы салфеткой.

— Кто?

— Этот журналист. Лиам. Я, когда его увидела, подумала — вот это настырный. Но симпатичный.

Диана откладывает вилку и смотрит на меня серьёзно.

— Да, ты права, симпатичный.

— Но даже несмотря на то, что он красавчик, я все равно не понимаю, как ты согласилась.

Я смотрю в окно. За стеклом проплывает жёлтое такси, за ним, ещё одно. Люди идут по тротуару, кто-то смеётся, кто-то говорит по телефону. Жизнь. Обычная, человеческая, короткая.

— Не знаю, — я пожимаю плечами. — Может быть, потому что он не сдаётся. А я всегда уважала тех, кто не сдаётся.

Диана кивает.

— Расскажи лучше о себе, — меняю я тему. — Как там твой жених?

Лицо Дианы мгновенно меняется. Становится мягче, светлее, будто кто-то зажёл свечу изнутри. Она смотрит на кольцо на своей руке, и в её глазах — то самое выражение, которое я видела тысячи раз у тысячи женщин. Счастье. Чистое, незамутнённое, как утренний снег.

— Мы решили пожениться осенью. Платье я уже присмотрела, но вот туфли и площадку...

Она говорит, а я слушаю. И улыбаюсь. Той улыбкой, которую не нужно репетировать.

Любовь.

Она говорит о любви так легко, как будто это что-то само собой разумеющееся. Как будто это не сделка, не риск, не падение в пропасть с завязанными глазами. Я вспоминаю своего жениха, человека мысли о котором с годами навещают меня всё реже.

Но даже сейчас меня передёргивает от отвращения. Вот такой уродливой была моя первая любовь.

— Софи, — Диана касается моей руки, — ты в порядке?

— Да, — отвечаю я. — Всё хорошо. Рассказывай дальше. Так какой всё же фасон будет у платья?

Она рассказывает. А я внимательно слушаю, потому что все равно продолжаю верить в то, что настоящая любовь существует. И надеяться на то, что Диана из тех самых женщин, которым невероятно повезло сделать верный выбор.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Нью-Йорк, 2025

Я прихожу в школу за пятнадцать минут до десяти. Друг остался дома — сегодня утром он смотрел на меня с таким укором, будто я лишала его главного приключения дня.

Диана уже на месте. Поправляет стопку бумаг на ресепшен, хотя бумаги и так лежат идеально.

— Он пришёл, — шепчет она очень тихо, когда я захожу. — Уже с полчаса сидит здесь.

— Где?

— В твоём кабинете. Я сказала, что ты скоро будешь. Надеюсь, ты не против.

Я киваю. Прохожу мимо зеркала в фойе — мельком смотрю на себя: чёрный блейзер, шёлковая водолазка, светлые волосы собраны в низкий хвост, минимум косметики. Ничего лишнего. Ничего, что дало бы ему повод думать, что я готовилась и хочу понравиться.

Кабинет встречает меня утренним светом из высоких окон.

Лиам Рид стоит спиной ко мне. Разглядывает Мэдисон-авеню, залитую весенним солнцем. Я успеваю заметить, что он высокий — выше, чем казалось вчера вечером.

Он оборачивается на звук моих шагов.

И улыбается.

На нём белая футболка — простая, хлопковая, без рисунка. Она сидит так, как сидят вещи на людях, которые не думают о том, как они выглядят, но выглядят хорошо. Под тканью угадывается рельеф — не накачанный, а скорее «нажитый»: плечи, грудь, руки, которые знают, что такое физическая работа.

Он держится легко и естественно, как будто мы уже давно знакомы.

— Мисс Лерман, — он протягивает руку. Ладонь сухая, тёплая, пожатие крепкое. — Ещё раз спасибо, что согласились.

— Ещё не согласилась, — улыбаюсь я, жестом приглашая его присесть в кресло напротив моего стола. — Согласилась пока что только поговорить.

— Да, но и это для меня уже огромный шаг.

Он достаёт из рюкзака диктофон — маленькую чёрную коробочку, которую ставит на край стола так, чтобы она смотрела в мою сторону. Потом блокнот — обычный, в твёрдой обложке, потёртый на углах. Ручку — недорогую, такие покупают упаковками в офисных магазинах.

Ничего кричащего «я великий журналист».

Мне это нравится. Или, по крайней мере, не вызывает отторжения.

В дверь тихо стучат. Диана заглядывает:

— Чай? Кофе?

— Чай, — говорит Лиам. — С двумя кубиками сахара, если можно.

Диана кивает и исчезает. Лиам смотрит на меня через стол.

— Можно включить? — кивает на диктофон.

— Включайте.

Красная лампочка загорается. Он делает короткий вдох — не нервный, а скорее сосредоточенный.

— Софи, — начинает он. Без «мисс Лерман». Тепло, но не фамильярно. Я позволяю. — Хочу написать о вас книгу. Биографию. Потому что вы — самая знаменитая балерина Америки двадцать первого века. Но о вашей жизни практически ничего не известно.

Он перечисляет, загибая пальцы, но не глядя в блокнот — видно, что готовился:

— Вы не ведёте социальные сети. Не даёте интервью. В последние годы завершили карьеру на пике популярности — просто взяли и ушли. Открыли школу, куда берёте детей исключительно по таланту. Не важно, сколько денег готовы заплатить их родители. Только личный отбор и потенциал. — Он делает паузу и ждёт от меня подтверждения этих слов.

— Это не преступление, — замечаю я.

— Это не преступление, — тут же соглашается он. — Это редкость. В мире, где всё продаётся, вы не продаётесь. И это заставляет людей додумывать.

Я натянута улыбаюсь на этой фразе, и мне становится душно.

— Всем известно, что у вас русские корни. Но при этом нет никаких документов о вас раньше 2010 года. Я не нашёл информацию о школе, или воспоминания ваших педагогов. Вы появились в Америке — и всё. Как будто упали с неба.

Я молчу.

— Люди придумывают легенды, — продолжает он. — Связи с русской мафией или их правительством. Поэтому всё архивы засекречены. И чем больше вы молчите, тем громче становятся эти истории.

— Хочу рассказать правду, потому что вы талантливы. — Он говорит это просто, без лести. — Я посмотрел всё ваши записи, которые смог найти. «Баядерку» в Метрополитен-опере. «Лебединое озеро» в Линкольн-центре. «Раймонду» в Бостоне. Я не эксперт, но никогда не видел, чтобы кто-то танцевал так, как вы.

Лиам замолкает, когда Диана входит с подносом — чашка чая для него, кофе для меня. Ставит на стол. Выходит, прикрыв за собой дверь.

— Вы покорены моим талантом? — спрашиваю я, беря чашку.

— Восхищён, — поправляет он.

Я смотрю на него поверх чашки. Он улыбается — чуть насмешливо, но добро.

— Хорошо, — говорю я. — Давайте начнём с интервью. А там посмотрим, сработаемся ли мы.

— Хочу чтобы вы знали, я не прошу согласия на книгу сегодня, но если вы передумаете...

— Договорились.

Лиам кивает и берёт ручку. Открывает блокнот и мы начинаем наше интервью. Первый вопрос — лёгкий, почти ритуальный, как па-де-де перед основным танцем.

— Где вы родились?

Я делаю глоток кофе. Горький. Чёрный.

— В Петербурге, — говорю я. — В России.

Точнее в Российской Империи.

Он улыбается, записывает.

— Расскажите о своих родителях? Семье?

Я решаю говорить правду — точнее, полуправду.

— Отец — был предпринимателем. — Я не нашла слов, как ещё описать дворянство. — Мать умерла, когда я была совсем ребёнком. Отец старался делать всё, что мог, но у него это весьма плохо получалось.

— Вы вините его?

— Нет, в России... — Я подбирала слова. — Несколько иные взгляды на воспитание.

— Связи с мафией отсутствуют или о них умолчите? — Снова широко улыбается.

И я решаю промолчать. Просто чтобы подразнить его. Лиам довольно кивает и продолжает:

— В каком возрасте вы начали танцевать?

— В пять. Встала у станка — и не ушла.

— Это было ваше решение или семьи?

— Сложно сказать, чей это изначально был выбор, но верю, что мой.

Он кивает.

— Каким был ваш первый балет?

— Танцевала снежинку в одиннадцать лет, думала, что это мой звёздный час.

— Какой был самый трудный момент в вашей карьере?

Я замираю. Рука с чашкой застывает на полпути.

Петербург. 1885 год. Декабрь.

Мой мир сузился до квадрата скользкого паркета, до запаха разогретой сосны и биения собственного сердца, колотившегося где-то в горле. Сегодня — тот самый день, который должен стать началом всего. День, когда Мариус Петипа и директор Императорских театров Всеволожский выбирали ту, что станцует на премьере перед самим Государем в балете под названием «Свет и Тень».

Утром в уборной училища пахло страхом. Воздух был густым от розовой пудры, пота и перегорелого лавандового масла. Я сидела перед треснувшим зеркалом, а нянька Акулина своими крепкими, как корни дерева, пальцами затягивала шнуровку моего корсета.

— Раз... два... взяли... — бормотала она, а я ловила ртом воздух, лёгкий, как пух. — Талия как пруттик, боюсь, прям переломить, Сонечка, — хохотнула она и продолжила.

В зеркале на меня смотрело бледное лицо с огромными глазами цвета неба — светлыми, но с тёмным ободком синевы вокруг зрачков. От страха, бессонницы и отсутствия аппетита на исхудавшем лице мои глаза казались ещё больше. Волосы, отливавшие то мёдом, то пеплом, были зашпилены в тугий, болезненно-аккуратный пучок. Ни одной выбившейся пряди. Сегодня всё должно было пройти идеально. Настал тот день, ради которого я жила, трудилась днями и ночами, изводила себя и своё тело бесконечными тренировками. Если меня сегодня выберут для балета, на премьеру которого придёт Император, то я буду на ещё один шаг ближе к своей мечте — однажды исполнить «Жизель» так же виртуозно, как Карлотта Гризи.

Я надела пачку — облако из белого тюля, невесомое и в то же время жёсткое от вшитых пластин китового уса. Последними — пуанты. Розовый атлас, потемневший от пота и пыли, сточенные кончики, проклеенные мелом до состояния камня. Они были продолжением моих костей, одновременно моим оружием и моими кандалами.

По коридору, пахнущему восковой мастикой и старыми портретами, мы плыли стаей белых лебедей к репетиционному залу Мариинки. Сердца всех стучали так, что, казалось, слились в единую симфонию страха, боли и надежды.

— Сонь, — прошептала мне на ухо Лида, — поговаривают, ведущую партию отдадут Марии. Петипа к ней благоволит...

— Петипа благоволит к прямым спинам и чистым фуэте, — отрезала я, даже не оборачиваясь на подругу. Голос звучал чужим, спокойным и острым, как лезвие, но внутри всё горело.

Зал встретил нас ледяным молчанием. Высокие окна лили столбы света, в которых кружила золотистая пыль. Паркет, отполированный тысячами па, блестел холодно и безжалостно. Напротив зеркала сидели они: Петипа — сухой, седой, с лицом хищной птицы; Всеволожский — важный, в мундире; ещё несколько серьёзных мужчин с бакенбардами.

— Петровская. Центр, — голос Петипа прозвучал сухо, без эмоций. — Музыка — адажио из «Лебединого».

Шаг вперёд. Шёлест пачки, похожий на вздох. Пятая позиция. Руки округлены. Взгляд — чуть выше голов судей. Я не видела их лиц — только тёмные силуэты на фоне окон, но зато я четко видела свою судьбу, висевшую между ними на незримой нити.

Первый аккорд пианино прозвучал, чистый и бесконечно печальный. Музыка Чайковского обняла зал.

«Это оно, — подумала я. — Весь мой путь, всё слёзы, всё стёртые в кровь пальцы — для этой минуты. Господи, помоги».

И я отпустила тело.

Оно и так помнило всё. Каждое движение было высечено в мышцах годами боли. Падекатр — лёгкое, как дуновение. Арабеск — линия вытянутой ноги и спины создавала одну непрерывную, совершенную дугу. В зеркале я ловила отражение не себя, а какого-то другого существа — из воздуха, музыки и абсолютной воли. Боль в стопах, вечное напряжение в пояснице, всё исчезло. Остался только полёт и это мгновение.

Краем глаза я увидела, как Всеволожский что-то тихо сказал Петипа. Тот чуть кивнул и улыбнулся. В груди вспыхнула дикая, сладкая искра надежды.

Музыка нарастала, подходила к виртуозной коде. Фуэте. Тридцать два поворота на одной точке. Высший пилотаж, настоящее испытание на прочность и мастерство.

Я собралась, как пружина. Мышцы ног натянулись, превратившись в стальные тросы. Колени, голеностопы, всё было проверено, всё слушалось.

Раз... два... три... четыре...

Я вращалась. Мир сливался в полосатое месиво из света, зеркал и лиц. В ушах свистел ветер, заглушавший всё, кроме счёта в голове и яростного стука сердца.

На седьмом повороте случилось крошечное предательство. Глубоко в колене что-то дрогнуло. Микроскопический разлад между волей и плотью. Мой мозг, отточенный тысячами часов, закричал тревогу: СТОЙ!

Но душа, уже воспарившая над телом, уже увидевшая огни рампы и императорскую ложу, закричала громче: ВПЕРЁД!

Я вложила в восьмой поворот всю оставшуюся силу, всю ярость, всю надежду.

И услышала звук.

Это не был щелчок. Это был низкий, влажный, животный хруст. Звук рвущейся парусины под грузом и ломающейся изнутри сочной зелёной ветки. Он прозвучал так оглушительно громко в наступившей тишине, что на миг заглушил пианино.

Боль пришла не сразу. Первым пришло понимание.

Я завершила поворот по инерции и попыталась встать на опорную... правую ногу, но её будто бы не было.

Она была. Она стояла на паркете, но моя собственная нога перестала быть частью меня, превратилась в чужой, невыносимо горячий и непослушный груз, из центра которого сочился чистый, белый ад боли.

А потом меня резко накрыло.

Боль поднялась от ступни, взломала колено, ударила в таз и вырвалась наружу беззвучным криком. Голос не слушался. Губы искривились в немой гримасе. Тело, секунду назад бывшее воплощением грации, сложилось пополам и рухнуло на паркет. Пачка вздыбилась вокруг меня белым саваном.

Тишина взорвалась. Пианино фальшиво оборвалось. Чей-то женский визг. Топот ног. Надо мной склонились лица — маски ужаса, жалости и... да, любопытства. Среди них — искаженное неподдельным ужасом лицо Лиды, моей единственной подруги в училище. И бледное, с широко открытыми глазами, но удовлетворённое лицо Марии.

Ещё мгновение, и я больше не видела их, только пятна света, плясавшие перед глазами от боли, и потолок с лепниной в виде амуров. Мне показалось, амурсы смеются надо мной.

— Не трогать! — прозвучал резкий, отсекающий голос Петипа. — Носилки!

Чьи-то руки подхватили меня. Каждый шаг несущих был ударом кузнечного молота по раскалённому гвоздю, вбитому прямо в кость. Я впилась зубами в губу, до крови, глотая рыдания. Слезы текли по вискам, смывая белила и румяна в грязные потоки.

Но жгла не только физическая боль. Жгло унижение провала, и это пламя было даже ярче. Меня пронесли мимо строя девушек. В их глазах я прочла всё. Шок. Жалость. И — да, чёрт бы их побрал — облегчение и радость. Одна из сильнейших выбыла, одной соперницей меньше; а для Марии, скорее всего, и вовсе открылся путь. Прямо сейчас я перестала быть Соней Петровской. Я стала посмешищем и свежей сплетней. И, больше не в состоянии терпеть эту боль, моё сознание отправилось в темноту.

Я пришла в себя в больничной палате. Здесь пахло карболкой и тленом. За окном хмурился петербургский декабрь, подёрнутый грязью снега. Аккуратно приподнявшись на локтях, я посмотрела на свою неподвижную ногу: до бедра она была закована в дощатую шину, туго перетянутую бинтами.

От боли и разочарования рухнула назад на подушку и постаралась сдержать слёзы. «Ничего, ничего страшного. Небольшое растяжение. Возможно, я даже успею оправиться, и Петипа даст мне шанс. А даже если и нет, то к следующему сезону точно буду в строю».

Дверь в палату за скрипела, и вошёл доктор — усталый мужчина с бородкой, от которого пахло табаком и формалином. Он молча, почти грубо, ощупал ногу, заставил её чуть согнуть. Я впилась ногтями в матрас, чтобы не закричать от боли, и поняла, что это вряд ли просто растяжение и сейчас мне вынесут вердикт.

— Полный разрыв передней крестообразной связки коленного сустава, — наконец произнес он. — Надрыв мениска. Колено — сложный механизм, барышня. Вы его сломали.

Голос у меня пропал. Я лишь прошептала беззвучно:

— Когда... когда я смогу танцевать?

Он обернулся и посмотрел на меня так, как смотрят на ребёнка, который спрашивает, когда вернётся с войны папа, погибший много лет назад. В его взгляде была профессиональная усталость и лёгкое, беззлобное презрение к моей очевидной глупости.

— Танцевать? — мужчина покачал головой. — О хождении без трости можно будет думать через год. Если не разовьётся артроз или контрактура. О беге — через полтора. О прыжках... — Он развёл руками. — Займитесь шитьём. О балете забудьте. Ваша карьера окончена.

Доктор говорил что-то ещё, но для меня его губы просто двигались, не издавая ни звука. В голове пульсировала только одна фраза:

«Ваша карьера окончена. Окончена».

Но он не понимал, что это не карьера окончена. Окончена моя жизнь. И сейчас этим диагнозом он вогнал последний гвоздь в крышку моего гроба.

Слова доктора упали в тишину палаты с глухим стуком, разбивая вдребезги двадцать лет жизни. Всё те ночи у станка, когда ныли всё кости, все мечты о свете рампы, о поклоне, о том, чтобы моё имя — Софья Петровская — прозвучало в вечности. Всё превратилось в пыль. В ничто. В этот жгучий, неподвижный груз на конце тела.

Доктор ушёл. Я лежала и смотрела в потолок. Там была трещина, похожая на карту неизвестной страны. Страны, куда мне пути не было. Тело ныло и болело, но душа была пуста. Слез не было. Вместо них внутри росла тяжёлая глыба, давившая на рёбра и горло. Попыталась думать о будущем, но мысли не цеплялись ни за что. Они скользили в пустоту не находя никакой опоры. Снаружи доносились шаги, голоса, жизнь больницы, но ко мне они не имели отношения. словно я была заперта в стеклянном колпаке, из которого выкачали весь воздух, и единственное, что там осталось, — это эхо хруста в колене и фраза: «Ваша карьера окончена».

Нью-Йорк, 2025 год (наши дни).

Я ставлю чашку на блюдце и после затянувшейся паузы отвечаю:

— Травма, — говорю я. — В самом начале карьеры. Доктор сказал, что я никогда не смогу больше танцевать.

Лиам смотрит на меня и в его взгляде нет жалость. Только внимание.

— Вы об этом никогда не упоминали. — Он снова оглядывает меня, будто бы пытаюсь разглядеть где именно во мне что-то надломилось.

— Да, это была серьёзная травма колена на финальной репетиции.

— Как вам удалось восстановиться?

— Нашла того, кто помог.

— Должно быть, это талантливый и преданный своему делу доктор.

В ответ я просто киваю, он делает записи в блокноте.

— Хорошо. — Лиам делает паузу. — Расскажите чуть подробнее? О том как морально справились с травмой колена?

Смотрю в окно, за стеклом — Нью-Йорк. Весенний, шумный, живой. А в воспоминаниях заснеженный холодный Петербург.

— Я не справилась, — шепчу я.

Он слышит, точно слышит, что я сказала, но не шевелится, чтобы записать это. Просто смотрит на меня, но без жалости, скорее с пониманием. Я делаю глубокий вдох и решаюсь озвучить эту часть своей истории:

— Это были бесконечные, одинаковые, отмеряемые сменой бинтов и молчаливыми визитами докторов дни. Я стала призраком в своей же собственной жизни. Мои друзья быстро забыли обо мне, отец разочаровался и окончательно отдалился, ведь возлагал большие надежды на моё будущее, а мой жених... — Я осеклась, не планировала заходить так далеко, но уже было поздно. — Мой жених меня предал.

— Предал?

Дрожащими руками я беру стакан воды, ядовитые воспоминания скребут когтями со дна моей души, есть вещи о которых ты не в силах забыть, сколько бы ни прошло времени.

— Кому нужна поломанная игрушка? — Отвечаю я и делаю глоток.

Диктофон записывает тишину. Лицо Лиамы мрачнеет, он сводит брови к переносице и теряется с ответом, а я снова проваливаюсь в воспоминания тех дней.

Санкт-Петербург, 1885 год.

На четвертый день ко мне пришла Лида. Глаза её были грустными, она говорила шёпотом о том, как всё переживают, как Марию уже почти утвердили, но Петипа, мол, качает головой и говорит: «Жаль, очень жаль Петровскую...» Её слова доносились как будто издали, сквозь толщу воды. Я кивала, но почти не слышала. Лида просидела недолго, оставив на тумбочке свежий зефир и тяжёлый, полный жалости взгляд на последок. После её визита стало еще хуже.

Под вечер пришёл он. Алексей Воронцов, корнет лейб-гвардии Гусарского полка, с которым нас обручили полгода назад. Брак был выгодным для моей обедневшей дворянской семьи и почтенным для его — я была, будущей прима-балериной, а не простой танцовщицей. Он был красив, как греческий бог с лубочной картинки: золотые кудри, усы торчком, голубые глаза, всегда смеющиеся. Он осыпал меня дешёвыми конфетами, плоскими комплиментами и обещаниями будущего, в котором я, прима Мариинки, буду танцевать для него одного в их родовом имении.

Он вошёл нерешительно, неся перед собой, как щит, уродливый букет жёлтых роз. От их сладкого, удушливого запаха сразу затошнило. Ненавижу розы.

— Сонечка, родная... — голос его был непривычно тихим. Он поставил цветы на тумбочку, рядом с гостинцами от Лиды, и неуклюже взял мою неподвижную руку. — Какое страшное несчастье. Я только вчера из лагеря вернулся, сразу к тебе.

Алексей не спросил о боли. Не спросил, что сказал доктор. Его пальцы были тёплыми, но прикосновение — чужим, холодным.

— Бедная моя птичка, — сказал он, целуя мои пальцы без прежнего пыла. — Как же так вышло-то... Ну, ничего, ничего. Заживёт, и продолжишь порхать, как и раньше.

Он говорил, глядя куда-то мимо меня, на снег за окном. В его голосе сквозила неподдельная растерянность и какая-то досада — не на мою боль, а на то, что планы вдруг спутались, что блестящая игрушка треснула, и теперь он не знал, что с ней делать. Выбросить сразу — неловко, да и совестно как-то. А чинить — невозможно. Он видел перед собой не меня, а досадную помеху, сломанный механизм в некогда прекрасной оболочке.

— Главное — не унывай, — добавил он с натянутой бодростью, вставая. — Я завтра, может, загляну. Тебе чего-нибудь принести? Конфет?

Я медленно повернула голову к окну, не отвечая. Уже смеркалось. В сизом вечернем небе Петербурга зажглась первая звезда. Холодная, одинокая точка.

Такой одинокой звездой была теперь я.

Нью-Йорк, 2025 год (наши дни).

Щелчок диктофона вырывает меня из собственных мыслей, смотрю на Лиама, он больше не улыбается, я вопросительно приподнимаю бровь.

— Знаете, София, за каждой великой личностью и историей стоит что-то сложное. И вы не исключение. Но смотря сейчас на вас, я вижу, что вы смогли не просто восстановиться после травмы, но и дойти до вершины. Значит, цена, которую вы заплатили, того стоила, хоть и было больно.

— Надеюсь, — просто отвечаю я.

Эту цену я запомнила навсегда.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Санкт-Петербург, 1885 год

Больничные дни слились в одно белое, пропахшее лекарствами пятно. Боль из острой превратилась в тупую, вечную спутницу, свившую гнездо в разбитом колене. Меня выписали через три недели — на костылях, с ногой, закованной в жёсткий кожаный ортез. Училище предоставило мне маленькую комнатку на чердаке — «до решения участи». Но участь моя была решена всеми, кроме меня самой. Я стала инвалидом балета. Бесплезным, никому не нужным, испорченным инструментом. Возвращаться в классы, видеть жалость в глазах педагогов и торжество в глазах Марии, было бы непереносимой мукой. Поэтому я приняла решение вернуться в дом отца.

В нашем доме Алексей стал появляться чаще. Приносил бутылку портвейна отцу, пастилу — мне. Садился на единственный стул у моей кровати и рассказывал о своих делах: карты, скачки, долги. С каждым разом голос его звучал всё более раздражённо. Он смотрел на мои костыли, прислонённые к стене, как на личное оскорбление.

— Ты хоть понимаешь, Соня, — сказал он как-то, выдыхая струйку дыма дешёвой папиросы, — что наш брак теперь... под большим вопросом? Матушка моя в ярости. «Жениться на калеке? Да ты с ума сошёл! Она же приданого-то никакого не имеет, только имя!»

Я сидела на кровати, стиснув зубы. Мой взгляд упирался в вытертый до дыр половик.

— Ещё никто не знает точно, некоторые доктора говорят... есть шанс...

— Какой шанс?! — он рассмеялся, и смех его был резким, как щелчок хлыста. — Чтоб ты припала на ногу, как старая кляча на сцене?

Он встал, похаживая по тесной комнатёнке. Его красота вдруг показалась мне пустой и злой.

— Лучше бы ты тогда, на той репетиции... — Алексей не договорил, но смысл повис в воздухе, густой и ядовитый.

— Что лучше бы?

— Птичка, не обижайся, — вздохнул он, глядя на тлеющий кончик папиросы, — но ты бы и сама не мучалась, и нас бы всех не заставляла страдать, глядя на тебя.

Когда он ушёл, я попросила отца больше не пускать Алексея ко мне. Он что-то кивнул мне в ответ, но я поняла: моя просьба останется невыполненной. Кто я такая, чтобы указывать мужчине, когда ему приходиться или уходить? Никто.

Отец практически со мной не разговаривал. Он оплачивал счета докторам из последних сил, словно пытаясь задобрить судьбу, но в его глазах теплилась уже не надежда, а усталая досада. Я была его активом, билетом, который должен был вернуть его в высшие слои общества после моего замужества, надеждой на безбедную старость. Теперь же в его взгляде читалось лишь одно: я стала тяжёлым, лишним грузом на его плечах.

Несколько раз меня навещала Лида, но, окутанная вихрем репетиций, балетной жизни и закулисных интриг, она вскоре забыла о моём существовании.

Так я и проводила дни в полном одиночестве, запертая в комнате, как в каменном мешке. Сквозь боль и слёзы я делала упражнения для реабилитации, а каждый вечер задыхалась от густой, липкой безысходности.

Вечером, накануне отъезда полка Алексея на манёвры, он пришёл пьяный. Глаза мутные, смотрел сквозь меня. Мундир был расстёгнут. От него пахло алкоголем, табаком и первозданной, неприкрытой злобой.

Он плюхнулся на стул, который жалобно затрещал под его весом. Вытащил плоскую фляжку, громко отхлебнул.

— Матушка моя вчера окончательно рассудила. Жениться на калеке — позор роду. Да и какая из тебя теперь жена? Ходить не можешь нормально, детей родить — Боже упаси, с такими костями развалишься. Приданого — ноль. Одна фамилия... да и та теперь с пятном.

Мой мир не рухнул. Он просто застыл, как лёд. Я сидела на кровати, не в силах пошевелиться. Знала, что это должно было произойти. Но знать и слышать — разные вещи.

Он говорил всё это спокойно, с отстранённым любопытством, будто обсуждал погоду за окном, а не судьбу живого человека. И в этом была вся мера его мелкой, ничтожной жестокости.

Знала ли я, что его чувства так шатки? Нет.

Конечно, я понимала, что наш брак — выгодный союз. Но наши чувства казались такими красивыми, такими взаимными... Любила ли я его? Думала, что да. Теперь же я не была уверена, знала ли я вообще, что такое любовь. Любовь матери я не познала — она умерла, когда я была совсем ребёнком. Любовь отца, как оказалось, имела свою цену. А любовь мужчины растоптала меня в час моей слабости.

Алексей встал, подошёл вплотную. Его тень накрыла меня целиком.

— Я столько на тебя потратил! Время, деньги, надежды... А ты...

Его рука протянулась — не для ласки. Грубые пальцы впились в мой подбородок, задирая лицо вверх. Больно.

— За всё надо платить, Соня. И ты мне должна. — Прошипел он.

Я попыталась вырваться, оттолкнуть его. Слабое движение здоровой ноги. Он лишь сильнее сжал челюсть, а другой рукой рванул ворот ночнушки. Тонкая ткань затрещала по шву.

— Нет! — вырвалось у меня. — Отстань! Я закричу!

— Кричи, — усмехнулся он, и в его глазах вспыхнуло что-то по-настоящему страшное. — Кто придёт? Твой пьяный папка, который в гостях проигрывает сейчас последние ваши семейные гроши? — он наклонился так близко, что я почувствовала его перегарный дух на своей коже. Меня замутило. — Никто не прибежит тебе на помощь. Тебе место не здесь, а в

публичном доме на окраине, среди таких же уродцев и калек. Там тебя хоть из жалости кто-то возьмёт. И то, если свечу потушишь.

Он толкнул меня назад на кровать. Спина больно ударилась о стену. Я попыталась отползти, но он схватил меня за больную ногу, чуть выше колена. Его пальцы впились точно в то место, где пульсировала незажившая травма, и дёрнул на себя.

Я вскрикнула — не крик, а животный, хриплый вопль, в котором смешалась вся физическая агония последних недель. Мир на миг почернел от боли.

— Вот видишь, — его голос звучал откуда-то сверху, спокойно, почти с интересом. — Даже это тебе не по силам. Ты вообще ни на что не способна.

Он придавил меня всем весом, одной рукой заломив мои руки за голову, другой зажав рот. Пальцы вонзились в щёки, задевая зубы. Я задыхалась, слёзы катились по вискам.

— Молчи и лежи. Это самое полезное, что ты можешь сейчас сделать. Подумай о том, что я, Алексей Воронцов, ещё снизойду до тебя. В память о нашей... любви, — он скривил губы в пародию на улыбку, — буду иногда заходить. Заплачу даже. Мордашка-то у тебя ничего, а ты будешь благодарна. Благодарна, что кто-то на такую, как ты, вообще смотрит.

— Ал... Алексей... — я выдавила сквозь его пальцы, задыхаясь, пуская пузыри слюны и крови. — Пре... прекрати... я тебя умоляю... прошу тебя... не надо...

Но мои мольбы, мои слёзы, моё унижение, всё это, казалось, лишь подливало масла в огонь его похоти.

— Ты ещё будешь молить и желать, чтобы я продолжил. Расслабься. Тебе понравится. Всем, в конце концов, нравится. Потом сама будешь просить.

Раздался резкий, сухой звук — не просто треск шва, а целый кусок ткани оторвался с корнем. Ночной воздух, холодный и сырой, ударил в обнажённую кожу, и по телу пробежали мурашки абсолютного, животного стыда и страха.

Свободной рукой он расстегнул ремень своих брюк и навалился на меня всем весом. Я пыталась сопротивляться, ёрзать, выкручиваться, всё было тщетно. А потом... из моей груди вырвался крик. Хриплый, сильный вой, звук, который не должен издавать человек.

Он не просто взял силой. Он уничтожал. Каждым прикосновением, толчком, каждым шёпотом он стирал с меня всё: достоинство, надежду, саму человеческую суть. Это был ритуал осквернения. Он бил меня по лицу, когда я пыталась укусить его за руку, специально упирался коленом в мою больную ногу, и белая, слепая боль разрывала сознание на клочья. Шептал на ухо гадости, подробности, от которых хотелось навсегда оглохнуть.

И когда он закончил, не было ни мгновения тишины. Был только звук — его тяжёлое, удовлетворённое дыхание, звон в моих ушах и тихий, навязчивый стук где-то в висках, отсчитывающий позор.

Мой жених стоял, поправляя мундир, застёгивая ширинку. Делал это неспешно, с видом человека, завершившего неприятную, но необходимую работу. Его глаза скользнули по мне — по моему телу, скрюченному в неестественной позе, по разорванной сорочке, по лицу, залитому слезами, слюной и кровью из разбитой губы. В его взгляде не было ни отвращения, ни жалости. Была лишь усталая свершённость. Как будто он только что поставил галочку в невидимом списке.

— Ну вот и всё, — произнёс он голосом, в котором не дрогнуло ни одной струны. — Квиты.

Он потянулся в карман, и на секунду в моём затуманенном сознании мелькнула дикая, идиотская надежда — платок? Но его пальцы вытащили не это. Он бросил на одеяло рядом со мной несколько мелких монет. Они звякнули, упав на влажное от слёз и пота полотно.

— На мазь для ноги, — пояснил он и повернулся к двери.

Его сапоги гулко застучали по голым доскам. Он не оглянулся и не попрощался, просто вышел, и дверь захлопнулась за ним.

Не было сил пошевелиться, не было сил даже чтобы дышать полной грудью. Воздух в комнате стоял тяжёлый, пропитанный его запахом — кожей, алкоголем, чем-то металлическим и чуждым. Я чувствовала всё. Каждый синяк, каждую царапину, каждое растяжение, но острее всего горело колено. Оно пульсировало тупой, яростной болью, напоминая о своём существовании с каждым ударом сердца.

Прошло время. Минута? Час? Я не знала. Луна за окном сдвинулась, и её холодный луч теперь падал прямо на кровать, на моё тело, освещая синеватые пятна на бёдрах, ссадины на запястьях, где он держал меня. Я медленно, с тихим стоном, который больше походил на хрип, соскользнула с кровати на пол. Доски были ледяными, шершавыми. Они впивались в голую кожу, но эта боль была почти приятной — земной, простой, отвлекая от того хаоса, что бушевал внутри.

Я поползла. Волоча неподвижную ногу, как привязанный к ней труп. Доползла до таза с водой у умывальника. Вода в нём была давно холодной, застоявшейся. Я не стала умываться, а просто опрокинула таз на себя.

Ледяной шок обжёг кожу, заставил вздрогнуть всё тело. Вода хлынула по лицу, по волосам, по шее, смывая часть крови, но не смывая ощущения скверны. Оно въелось глубже кожи, теперь было в каждом мускуле, в каждом нерве. Я почувствовала, как по телу пробежала дрожь — не от холода, а от чего-то иного, невиданного мной ранее. От осквернения.

Мой взгляд, блуждающий, потерянный, упал в щель между разошедшимися половицами. Там, в пыли и мраке, тускло блеснул осколок разбитого мной неделю назад туалетного зеркала. Треугольный, с одним невероятно острым, будто наточенным краем. Он лежал там, забытый всеми, как забыли и меня. Свидетель моего первого акта разрушения, когда я, увидев в нём свои впалые глаза, швырнула в стену костыль. Теперь осколок смотрелся как естественное продолжение — орудие для завершения моей никчёмной жизни.

Просунула пальцы в щель. Дерево было шершавым, пыль забила под ногти. Нащупала холодный, враждебный край и вытащила его. Осколок лежал на моей ладони, тяжёлый и безжалостный. Поднесла его к лунному свету, и в нём, в этом крошечном, искривлённом мире, отразилась я. Это было лицо того существа, которое родилось в унижении и теперь жило во мне. Существа, которое ненавидело всё, включая само себя, до самой последней клетки своей души.

Медленно перевернула осколок в пальцах, ощущая его смертельную геометрию. Зазубренный, грязный, но бесконечно острый край. Прижала его к тому месту на запястье, где кожа была самой тонкой, почти прозрачной, где бился пульс — последний отголосок жизни, которая мне теперь была не нужна. И надавила. Острая, чистая боль, ничтожная по сравнению с тем, что было час назад, пронзила кожу. На белой коже выступила ярко-алая капля. Она повисла на краю осколка, как рубиновая бусина. Обещание. Обещание тишины, покоя, конца.

Я зажмурилась, собрала все силы, всё остатки отчаяния в один кулак, в одну точку на запястье, готовясь провести этим осколком по своей жизни раз и навсегда. Рука моя дрогнула, и острый край отодвинулся от кожи. Уронив голову на колени, я зарыдала. Неистовая, невыносимая злость накрыла меня. Злость на весь мир, который позволил этому случиться, на собственное тело, которое предало меня, на эту безысходность.

Я подняла лицо к потолку:

— Боже, — прошептала я в темноту, и слово это было сухим, как шелест пепла. — Где же Ты был? Где Ты был, когда я молилась в репетиционном зале? Где Ты был, когда он... — голос сорвался.

Тогда я опустила взгляд в бездонную черноту под скрипучими половицами.

— Значит, Ты молчишь. Значит, в Твоих небесах нет для меня ни капли милости. Тогда... — я сжала осколок так, что он впился в ладонь и на пол закапала моя кровь. — Тогда я

обращаюсь к тому, кто слушает. К той силе, что не гнушается разбитых, опозоренных, выброшенных на свалку. Слышишь ли хоть ты меня? Я бы всё отдала!

Неужели всё это было зря?!

И в ответ на этот не крик, а низкий, хриплый рёв, полный ненависти и безумной надежды, — мир содрогнулся и тут же замер.

Тишина. Пропал скрип половиц, стих завывающий в трубе ветер. Мой собственный стук в висках затих. Комната погрузилась в абсолютную, восковую немоту, будто её вынули из потока времени.

И в этой идеальной тишине, в самом углу, где сходились самые густые тени, ступила в лунный свет фигура.

Он был высок. Одет в чёрное, но не в простое чёрное — это был цвет, поглощавший свет, цвет абсолютной пустоты. Лунный луч, падавший на него, не отражался, а словно проваливался внутрь, тухнул.

Красота мужчины была нечеловеческой, неземной, отталкивающей в своём совершенстве. Чёрные, как смоль, волосы, идеальные, резкие черты, губы, изогнутые в полуулыбке, которая казалась высеченной раз и навсегда. И глаза. Глаза цвета старого, потускневшего серебра, в которых плавали отражения далёких, мёртвых звёзд, словно светились изнутри.

Я несколько раз моргнула, пытаюсь развеять пелену слёз и убедиться, что всё, что я вижу, — не игра света или плод моего больного рассудка. Мужчина дышал, ведь я видела лёгкое движение ткани на его груди, но ритм этого дыхания не совпадал ни с биением моего сердца, ни с тиканьем часов на столе. Оно было автономным, чужим, как тихая работа далёкого механизма.

Посмотрела на своё тело. На грязь, на синяки, на кровавый осколок и израненную ладонь. А потом в его глаза. В эти бездонные, холодные колодцы.

— Я умерла? — прошептала я, и в моём вопросе прозвучал не страх, а жажда подтверждения конца.

Существо в образе мужчины наклонило голову набок, внимательно изучая меня. Потом медленным, плавным движением сняло с себя сюртук, присело рядом со мной и накрыло меня им. Я даже не замечала, как меня била сильная дрожь от холода, пока тёплая, странно невесомая ткань не укутала мои плечи.

— Вы... смерть?

— Неважно, кто я, София, — голос был ровным, без тембра, как если бы слова возникали прямо в воздухе, минуя голосовые связки. — Ты позвала меня. Намеренно или нет — значения не имеет. Тончайшая нить была брошена в бездну. Я просто... подобрал другой конец.

Он поднялся и отошёл к окну, вглядываясь в ночь, которую его присутствие делало ещё чернее.

— «Я бы отдала всё.» — это очень растяжимое понятие, София. Давай уточним. Что именно ты хочешь и что готова отдать взамен?

Я не отводила взгляда. Стыд, боль, слабость, всё это сгорело в том белом пламени злости, что выжгло во мне последние следы прежней, сломленной девушки.

Он знал моё имя, но произносил его как-то странно, мягко. София, а не Софья. И не задумываясь, я выпалила:

— Я хочу снова танцевать. Хочу исполнить партию «Жизель» лучше всех в мире, чтобы никто — ни до, ни после — не смог превзойти меня. Хочу признания и славы, хочу быть лучшей... — тут голос, наконец, дрогнул, выдав ту девчонку с разбитым сердцем, что всё ещё цеплялась где-то в глубине, — ...я хочу, чтобы меня полюбили. Чтобы эта любовь была щитом, чтобы она сожгла память об этой ночи и была совершенной. Неуязвимой.

Он слегка склонил голову, и в его серебряных глазах пробежали отсветы, словно кто-то внутри перебирал бесконечные картотеки возможных исходов.

— Слава и любовь. — Он произносил слова, будто пробуя их на вкус, оценивая их хрупкость и вес. — Классика. Взамен я попрошу кое-что одно, но неделимое. — Повисла короткая пауза и он оценивающе взглянул на меня. — Твою душу. Она перейдёт в мою безраздельную собственность. Но не сразу, а в момент исполнения самого сокровенного из твоих желаний. В тот момент, когда ты исполнишь партию «Жизель» на сцене, достигнув в этом танце своего абсолютного идеала. В секунду твоего наивысшего триумфа... Ты станешь моей, окончательно и бесповоротно.

Он снова подошёл ко мне и протянул руку. Рука повисла в воздухе, не требуя, а предлагая. Ждущая.

— Согласна?

И я подняла свою руку в ответ — грязную, дрожащую, с окровавленным запястьем и ладонью, и вложила её в его холодную ладонь.

Прикосновение было как удар молнии — ледяным снаружи и обжигающим внутри. По жилам пробежал ток чужой, могучей, древней силы, выжигая остатки слабости, страха, человеческой немощи. Я выпрямила спину.

— Согласна.

Его пальцы мягко, но неотвратимо сомкнулись вокруг моих. И в тот же миг всё изменилось.

Боль исчезла. Не притупилась, а исчезла полностью. Исчезло ноющее пламя в колене, исчезла ломота в рёбрах, исчезла пульсация в разбитой губе и во всём теле. Оно наполнилось странной, вибрирующей силой, лёгкостью, которой не было даже до травмы. Я сделала глубокий вдох, и воздух показался мне кристально чистым, почти сладким.

Он отпустил мою руку и остался стоять в двух шагах. В его неподвижности было больше власти, чем в любом движении. Лунный свет, обтекал его, не смея даже коснуться.

— Завтра, — произнёс мужчина, и это слово легло в тишину комнаты, как печать на воске, — твоё тело полностью исцелится. Боль останется только в памяти.

Он взглянул на свой сюртук, наброшенный на мои плечи, который я сжимала до побелевших костяшек пальцев. Его взгляд смягчился на долю мгновения, но это было не человеческое смягчение. Скорее, удовлетворение мастера.

— Оставь себе.

Потом он отступил в тень, и его фигура начала терять чёткость, сливаясь с темнотой. Сначала исчезли контуры, словно их стёрли из сумерек. Потом потухло само пятно черноты, впуслав обратно лунный свет.

Он растворился. Не с хлопком или вспышкой, а просто перестал быть. Остался лишь лёгкий, неуловимый шлейф пыли.

Я тут же, без усилия, встала на ноги. Затем согнула колено, которое час назад было эпицентром ада. Движение было абсолютно свободным, бесшумным, наполненным пружинистой, звериной силой. Я была уверена: прямо сейчас могла бы не просто сделать арабеск, а могла бы взлететь.

Дойдя до кровати, легла, подтянула края чёрного сюртука, укрываясь в его странном, неземном тепле, которое грело не тело, а что-то глубже, под самой кожей. Не заснула сразу. Лежала и смотрела в окно, где луна медленно клонилась к горизонту. Внутри не было ни радости, ни облегчения. Была титаническая, холодная пустота.

Одно я знала точно: сегодня ночью я продала свою истерзанную душу. И, возможно, мне удалось выторговать за неё гораздо больше, чем она когда-либо стоила.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Санкт-Петербург, 1886 год

Я проснулась от странной тишины. Не от криков на улице или скрипа полозьев, а от её отсутствия. В комнате стоял густой, золотистый свет, пахнувший не зимней сыростью, а пылью и... горячим хлебом. Я лежала, укрытая тяжёлым, пышным одеялом, и несколько минут просто смотрела в потолок.

«Сон», — пронеслось в голове с тупым, огромным облегчением.

Кошмар. Бред моей горячки. Сейчас я шевельну ногой и всё вернётся на место: боль, шина, горечь. Я медленно, с затаённым дыханием, согнула правое колено под одеялом. Ни тени сопротивления и ни намёка на ту хватку агонии, что сжимала колено последние недели. Только лёгкость, гибкость, совершенная, неестественная податливость.

Сердце забилося, от ледяного предчувствия, и я резко села. Солнечный луч ударил в глаза. За окном было лето: ясное, петербургское, с пыльной зеленью. На подоконнике стояла стеклянная банка с полевыми цветами — васильками и ромашками, мои любимые.

Я подняла руки, чтобы протереть лицо, и застыла. На внутренней стороне левого запястья, там, где я прижимала осколок, лежала тонкая, серебристая точка, размером с булавоchnую головку.

Не сон.

Я встала, ноги приняли вес тела без малейшей дрожи, подошла к маленькому круглому зеркалу на комод. В нём отразилось моё лицо. То самое, но... иное. Бледность ушла, сменившись ровным, лёгким румянцем. Глаза сияли, синяки под ними исчезли.

На стуле лежало аккуратно сложенное платье с кружевным воротником. Рядом стояли новые, мягкие туфли. Всё пахло свежестью и лавандой. Я машинально надела платье, оно сидело безупречно, и вышла из комнаты.

Наш старый дом был неузнаваем. Лестница скрипела по-прежнему, но её ступени были чисто вымыты. Внизу, из столовой, доносился гул голосов, звон посуды и... смех? Отец смеялся. Звук был настолько чуждым, что я замерла на последней ступеньке.

Дверь в столовую была распахнута. Стол ломился от еды: окорок, пироги, икра в серебряной чаше, клубника со сливками. Запах был ошеломляющим, плотным, праздничным.

За столом сидел отец — Пётр Андреевич Петровский, но не тот, вечно недовольный и проигравшийся человек. Он сидел прямо, в чистой рубашке, лицо гладкое и довольное. Перед ним, почтительно внимая, стояли три женщины в белых фартуках. У нас не было прислуги со времён моего детства.

Отец заметил меня. Его лицо озарилось такой искренней, незнакомой радостью, что у меня перехватило дыхание.

— Сонюшка! Проснулась! — Он встал, широко раскрыв объятия. — Ну и выпалась же ты! К обеду! Но ничего, доктор разрешил, сон — лучшее лекарство! Подходи, завтракай! Тебе силы нужны, сегодня важный день!

Я подошла, чувствуя себя призраком. Он обнял меня, пахнул дорогим табаком и одеколоном.

— Садись же, — повторил Петр Андреевич. — Чай стынет.

Села и женщина в фартуке тут же налила мне чаю из сияющего самовара.

— Чудо какое, Сонечка! — Отец потянулся за свежим номером «Петербургской газеты». — Чудо! Про тебя пишут!

В разделе светской хроники была заметка: «Восходящая звезда Императорского балета, воспитанница С. Петровская, получившая тяжёлую травму в прошлом сезоне, демонстрирует чудесное исцеление. Доктора в недоумении, в театре — ликование».

Отец смотрел на газету не как на новость, а как на банкноту крупного номинала. Его пальцы бережно поглаживали шершавую бумагу.

— Сам Гальперин, понимаешь, светило, руки разводит! — Он вдруг встрепенулся. — Точно! Чуть не забыл! Сегодня к нам пожалует Мариус Иванович Петипа. Через час будет.

Он говорил о визите мэтра так, будто ждал царя. И для него, пожалуй, это и был царь — царь того мира, в двери которого я, его дочь, неожиданно вернулась.

Ровно в два, без пяти минут, у нашего дома остановилась карета. Из неё, словно выпущенная пружина, выскочил Мариус Иванович. Сняв цилиндр, он окинул прихожую быстрым, оценивающим взглядом, кивнул засуетившемуся отцу и тут же нашёл меня.

— Ma chère! Дорогая моя девочка! — Он схватил мои руки, не давая сделать реверанс, и сжал их с силой, удивительной для его возраста. Его пальцы, холодные и цепкие, ощупали косточки, будто проверяя качество товара. — Вы — чудо! Ходячее, танцующее чудо! Доктор Гальперин у меня в кабинете руки разводил — «необъяснимо, Мариус Иваныч, с научной точки зрения необъяснимо!»

Он увлёк меня в гостиную, усадил на стул, а сам остался стоять, расхаживая короткими шажками.

— Понимаете, в чём дело, — заговорил мэтр, не сводя пронзительных глаз. — Сезон у нас расписан. После вашего... несчастья, главные партии на этот год были распределены. Одетту и Никию взяла на себя Мария Степанова. Твёрдая техника, безупречная школа, но... — Он сделал выразительную паузу. — Души, мадемуазель Петровская! Где душа? Публика хочет трагедии! А вы... вы теперь сама ходячая трагедия, обёрнутая в надежду!

Он присел на край стола.

— И вот судьба вносит коррективы. Степанова — вы не поверите — вчера на репетиции па-де-де подвернула лодыжку. А сезон открывается через месяц! И кому, как не вам, нашей воскресшей из пепла, доверить одну из этих партий? Одетта с её хрупкой поэзией или Никия с её пламенной гибелью. Я хочу, чтобы это были вы!

Он выпалил это, и в комнате повисла тишина. Отец замер у двери. Я чувствовала, как каждое слово Петипа ложится в продуманный рисунок. «Судьба вносит коррективы». По спине пробежал холодок от осознания того, каким образом сейчас все обернулось в мою сторону.

— Мариус Иванович, — мой голос прозвучал тихо, но чётко, — я бесконечно тронута вашим доверием. После всего... я и сама не знала, смогу ли снова выйти на сцену. — Я сделала паузу, глядя ему прямо в глаза. — Но если выберу — отдамся роли полностью. И мне потребуются условия.

Петипа прищурился. В его взгляде промелькнул интерес. Охотник почуял в добыче родственную хищную ноту.

— Условия? Говорите же.

— Во-первых, отдельная квартира. В центре, близко к театру. Каждая минута должна идти на подготовку. — Отец закашлялся, но я не обернулась.

Я произнесла это ровно, но вне поля зрения мэтра, мои пальцы мёртвой хваткой вцепились в край стула. Холодное дерево врезалось в ладонь — единственная ниточка, связывающая меня с реальностью, пока я торговалась о своей цене с лучшим балетмейстером Империи.

— Во-вторых, освобождение от кордебалетной нагрузки на весь период подготовки. Только главная партия. В-третьих, личный контракт с фиксированным жалованьем и процент от сборов.

Я произнесла это ровно. Петипа медленно выпрямился. Он смотрел на меня так, будто видел впервые.

— Вы... изменились, мадемуазель Петровская. Стали твёрже. Это хорошо, ваша травма закалила вас! — Он потер подбородок. — Квартиру... постараюсь найти. С кордебалетом — договоримся. Контракт... с дирекцией будет битва. Всевожский скуп. Но за такое чудо... я буду биться. Даю слово.

— И ещё, — добавила я, прежде чем Петипа смог продолжить. — Я сама выберу, какую партию танцевать. После того, что случилось, мне нужно время, чтобы понять, какая история сейчас живёт во мне. Одетта или Никия. Дадите мне неделю?

Петипа замер, потом неожиданно рассмеялся — сухим, одобрительным смешком.

— Bravo! Художник должен чувствовать материал изнутри! Неделю? Хорошо. Вы дадите мне знать. — Он поднялся, взял цилиндр. — Завтра в одиннадцать — первая общая репетиция. Будем ждать вас, а сейчас мне пора!

Когда он уехал, отец долго смотрел на закрытую дверь, потом на меня. В его глазах бушевала буря: восторг перед открывающимися возможностями и глухой, патриархальный укор. Дочь торговалась с мэтром, как купец на ярмарке. Это было неприлично.

Я не сказала больше ни слова, поднялась в свою комнату, закрыла дверь и открыла шкаф. На вешалке висел знакомый чёрный сюртук. Ткань, поглощавшая свет. Я коснулась её рукой. Она была холодной, но в глубине её, казалось, пульсировала память о том ледяном пожаре, что пробежал по моим жилам. Вспомнился Его голос — ровный, спокойный: «В миг твоего абсолютного триумфа... ты станешь моей».

По коже пробежали мурашки, это не был страх, ведь всё самое ужасное, как будто бы уже осталось в прошлом, оставив о себе только память. Но сейчас пришло осознание, что я заключила договор с самой Тьмой, которая отозвалась на мои мольбы. Страшило ли меня это? Нет. И именно отсутствие страха пугало меня больше всего.

Спустя три дня после визита Петипа, когда я уже привыкла к новой, странной лёгкости в теле, отец нервно расхаживал по гостиной.

— Соня, — сказал он, — сегодня вечером... к нам будут гости. Воронцовы.

Кровь отхлынула от лица, оставив ощущение ледяной маски.

— Я не выйду к ужину, — сказала я ровно.

— Соня, послушай... — его лицо было испуганным и умоляющим. — Они приходят с миром! С извинениями! Павел Сергеевич написал — они были в шоке от решения Алексея разорвать помолвку. Он одумался! Они хотят всё исправить! Для тебя же лучше! С приданным теперь... с будущей карьерой!

Он не понимал, да и мог понять, ведь не знал, что сотворил Алексей с моим телом и душой. Как он осквернил меня, забрав у меня последний свет. В его мире поведение Алексея можно было списать на «молодость, горячность», а моё «благо» измерялось титулом и положением. Подумаешь, разорвал помолвку, когда узнал о травме любимой, но как только она в прямом смысле встала на ноги — благородно вернулся.

— Я выйду, — голос мой был твёрд, как сталь. — Но только для того, чтобы положить этому конец. Раз и навсегда.

Он хотел возразить, но увидел что-то в моих глазах и замолчал. Уступил. Впервые в жизни, но сомневаюсь, что поверил.

Они пришли в седьмом часу, всей семьёй, как на смотрины. Павел Сергеевич — важный, седой, с орденом. Его жена, Анна Петровна — худая, с глазами, вымерявшими нашу обстановку и находящими её недостойной. И он.

Алексей.

Вошёл с букетом роз. Лицо его было тщательно выбрито, мундир сиял. Он улыбался — той самой открытой, бесстыжей улыбкой, что когда-то казалась очаровательной. Увидев меня, сделал шаг вперёд. В его взгляде не было ни раскаяния, ни страха. Была привычная, почти скупающая уверенность человека, вернувшегося к своей законной собственности, которая ненадолго вышла из повиновения. Сломанная игрушка починилась, и Алексей пришёл забрать её с полки.

— Софья Петровна! — воскликнул он с теплотой, от которой зашевелились волосы на затылке. — Вы сияете! Здоровье, слава Богу, вернулось! Я счастлив!

Протянутые мне цветы, не глядя, передала горничной.

— Благодарю вас, Алексей Павлович.

Ужин был пыткой. Павел Сергеевич говорил о чести, о недоразумениях, о горячей молодой крови. Анна Петровна кивала. Отец поддакивал. Алексей сидел напротив. Он ловил мой взгляд и улыбался — улыбкой человека, делящего со мной какую-то интимную, дурную шутку. Он наливал мне вина. Его нога под столом нашла мою и наступила на неё, не для ласки, а для напоминания о праве собственности. И он был абсолютно и пугающе спокоен. Для него та ночь была не преступлением, это была досадная вспышка гнева с собственной вещью, о которой теперь можно было забыть, как забывают о разбитой, но склеенной вазе.

— ...и, конечно, теперь, когда невеста наша не только здорова, но и на пороге триумфа... самое время вернуться к прежним планам, — вёл речь Павел Сергеевич. — Думаю, что бал в честь обручения нужно организовать в ноябре, после вашего дебюта.

Я молчала, отрезая кусок мяса, который не могла проглотить. Вдруг Алексей отодвинул стул.

— Папаша, мамаша, Пётр Андреевич... вы уж извините. Нам нужно пару слов наедине с моей невестой.

Отец встревожился, но Павел Сергеевич благодушно махнул рукой. Алексей подошёл ко мне, взял под локоть с той же властной небрежностью.

— Софья? Пойдём, подышим.

Я встала и вышла с ним на маленький балкон. Летний вечер был тёплым, дверь за спиной захлопнулась.

Как только мы оказались в относительной тишине, его рука не отпустила локоть, а сжала сильнее. Всё галантное обличие слетело, как шелуха.

— Ну что, моя птичка, оперилась? — его шёпот был густым и довольным. — Да, погорячился тогда, дурак... но теперь всё на своих местах.

Я попыталась вырвать руку. Бесполезно.

— Отстань, Алексей. Никакой свадьбы не будет. Ты глупец если думаешь, что я прощу тебя за то, что ты сделал!

Он тихо рассмеялся. Злобно, по-хозяйски.

— Ой, да что ты! Обиделась? — Он наклонился ближе, его дыхание обдало меня перегаром и самодовольством. — А на что обижаться, Сонечка? Ты — моя, я взял то, что по праву принадлежало мне! Да, не совсем как в твоих мечтах, но я был пьян и очень зол на тебя!

Кажется, я перестала дышать. Он был зол на меня!

— И знаешь что? Кому ты нужна опороченная? После этого ни один приличный мужчина на тебе не женится. Так что не дури. Будешь умницей — всё забудем. Не будешь... найду способ напомнить.

В этот раз страх не парализовал меня. Он кристаллизовался во что-то иное. В ледяную, безжалостную ясность. Я медленно повернула голову и посмотрела ему прямо в глаза. И улыбнулась. Той самой светской, холодной улыбкой, которой он сам только что щеголял.

— Алексей Павлович, — сказала я тихо и чётко, — вы ошибаетесь, когда говорите, что никто на мне никогда не женится. Ведь я восходящая звезда, — я позволила взгляду скользнуть по его мундиру с презрением, — а вот вы — корнет, который изнасиловал свою болеющую невесту, а теперь пришёл вымогать её и упрашивать принять предложение назад, прикрываясь родительскими юбками. Как вы думаете, кто из нас находится в унижительном положении сейчас?

Его лицо исказилось. Не страхом — оскорблённым неверием. Как смеет вещь так говорить с хозяином? Я не повышала голоса. Но каждое слово било точно в цель — не сердце, которого не было, а в статус, в фасад благопристойности. Его пальцы разжались сами собой, будто обожглись о холодный металл моей уверенности. Он отпрянул, в глазах бушевала ярость,

смешанная с полным, глухим непониманием. Алексей не мог осмыслить эту перемену. Для него это было противоестественно, как если бы стул вдруг отказался его держать.

— Ты с ума сошла, — прошипел он, уже не скрывая злобы. — Совсем рехнулась.

— Возможно, — я повернулась к двери. — А теперь прощайте, Алексей Павлович. И не приходите больше. Не напоминайте о себе. Для меня вы — больше не существуете.

— Мы не закончили! — Он взревел, и тут же понизив голос, продолжил: — Если ты сейчас выйдешь и опозоришь меня и мою семью своим отказом, я расскажу всем, какая ты, как сама умоляла меня взять тебя до свадьбы, чтобы связать мне руки и заставить жениться на калеке!

— Нет, мы закончили.

Я открыла двери балкона и вошла в гостиную поправляя юбку. Трое взрослых за столом обернулись.

— Алексей Павлович прощается. У него срочные дела в полку. — Произнесла я с учтивой светской улыбкой на лице.

Я села на своё место и взяла бокал с водой. Рука была твёрдой, как скала. За дверью балкона несколько секунд царила тишина, потом раздались тяжёлые, грубые шаги. Алексей, багровый, не глядя ни на кого, промчался через гостиную, хлопнул входной дверью и исчез.

— Алексей огорчен моим отказом, но думаю, что эта обида очень быстро затухнет в его сердце.

В наступившей тишине слышалось только тяжёлое дыхание отца и тихий звон хрусталя в дрожащих пальцах Анны Петровны. Павел Сергеевич смотрел на меня, и в его взгляде было не столько злость, сколько леденящее отвращение к хаму, осмелившемуся нарушить порядок вещей.

Я допила воду до дна.

Внутри не было ликования. Была глубокая, звенящая пустота, как в театре после того, как смолкли последние аплодисменты и ушли зрители. Но я не играла роль, а установила новый закон. И закон этот был прост: я больше не вещь. Я — сила. Холодная, одинокая, купленная ценой своей бессмертной души, но всё же сила. И если у меня появился второй шанс на эту жизнь, я проживу ее так, как вздумается мне, а не правилам приличия и гнилому обществу.

Отец Алексея прокашлялся:

— Софья Петровна, я понимаю, что в вас говорит женская обида, а это страшное дело, — Он попытался пошутить, но никто за столом даже не улыбнулся. — Поэтому не принимайте таких поспешных решений, вы с Алексеем молоды, горячи...

Я перестала слушать его бестолковые речи и подняв глаза, встретила взгляд отца. В нём не было гордости. Была растерянность, осуждение и робкий, неприкрытый страх. Он смотрел на существо, заменившее его дочь. На силу, которую не мог понять и которой не мог больше управлять. Как бы ему не хотелось заставить меня — он не мог. Ведь именно он без меня станет никем.

Я улыбнулась ему и от моей улыбки он отшатнулся. Как если бы ему улыбнулся покойник.

Зато в углу комнаты, в самой густой тени от высокого буфета, воздух дрогнул. Лишь на миг мне одной заметный. Ни звука, ни запаха полыни не было, только молчаливое, одобрительное присутствие.

Аплодисменты были беззвучными.

Но я их приняла.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Санкт-Петербург, 1886 год

Следующий день начался с той же странной, новой лёгкости в теле — лёгкости, что уже начинала казаться подозрительной, как слишком яркий блеск на только что отполированном

клинке. Я стояла в огромном, залитом утренним светом репетиционном зале Мариинки. Высокие окна лили на паркет потоки солнца, в которых кружила позолоченная пыль. Воздух пах старым деревом, мелом и потом — родным, знакомым запахом дома, в который я боялась не вернуться.

Я сделала плие. Мышцы ответили мгновенно, послушно, без привычного предостерегающего нытья в суставах. Паркет, казалось, сам пружинил под моими стопами, а воздух был упруг и податлив. Это было неестественно. Божественно и одновременно ужасно.

Но лёгкость тела разбивалась о стену взглядов.

Девочки из кордебалета, с которыми я ещё вчера была на равных, или даже ниже, будучи калеккой, — теперь смотрели на меня иначе. Я ловила их взгляды, скользившие по мне, когда я проходила к станку. В одних глазах читался искренний, почти суеверный восторг: «Феникс! Чудо! Она встала!». Они видели не Соню Петровскую, их бывшую подругу по несчастью, а явление. Небывалое исцеление, личный визит Петипа, слухи о внезапном покровительстве. Я была отделена от них невидимой, но прочной стеной — стеной моего «чуда» и его негласной, пугающей цены.

Они шептались, сбившись в стайки у громадных печей, и замолкали, когда я приближалась. Их тихие голоса казалось направлены точно в мою спину, в то место между лопаток, где с детства жил страх быть осмеянной. Я старалась держать спину прямо, подбородок высоко, как учили. Но внутри всё сжималось в холодный, твёрдый ком.

В середине дня, когда мы расходились на перерыв, ко мне подошла суфлёрша, пожилая Анна Фёдоровна, женщина с лицом, испещрённым морщинами доброты и усталости. Она сунула в мою ладонь что-то тяжёлое и холодное, обёрнутое в листок бумаги.

— Держи, голубка, — прошептала она, оглядываясь. — От Мариуса Ивановича. Говорит, осматривайся, обживайся.

Она быстро отошла, растворившись в полумраке кулис. Я развернула бумагу. Внутри лежал ключ — не простой, а массивный, железный, с затейливой головкой в виде лиры. На обороте листка изящным, твёрдым почерком был выведен адрес: набережная реки Фонтанки.

Квартира оказалась не просто хорошей. Она была непозволительной. Я замерла на пороге, ключ, зажатый в потной ладони, словно жёг кожу. Дверь открылась бесшумно, впусив меня в другое измерение.

Тишина. Гулкая, бархатная, непривычная после вечного скрипа половиц в отцовском доме. Высокие, в три окна, потолки, украшенные лепными розетками и гирляндами. Паркет, набранный «ёлочкой» из тёмного, почти чёрного дуба, сиял, отражая рябь света с Фонтанки. Стены были оклеены дорогими обоями с шелковистым отливом — не яркими, а глухого, благородного оттенка старого вина.

И главное — просторная, почти пустая комната справа. Большое зеркало во всю стену. Деревянный станок, крепко вбитый в пол у самого окна. Свет падал идеально. Здесь пахло свежей краской, воском для паркета и... ничем. Ни плесенью, ни бедностью, ни прошлым. Пахло свободой. Свободой, купленной дороже всех денег мира.

Я медленно прошла по комнатам, босиком. Паркет был прохладным и идеально гладким. Касалась пальцами резных хрустальных ручек на дверях, прохладного гладкого мрамора каминной доски. Было чувство заслуженного. Так и должно быть. Это был первый взнос по чудовищному, роскошному векселю.

Внезапно меня охватила дикая, ребяческая мысль — захлопнуть всё двери, пробежаться по этому сияющему паркету, сделать Grand jeté от камина к окну, чтобы проверить, не мираж ли это. Но тело оставалось неподвижным. Душа, придавленная грузом этой роскоши, не могла прыгнуть. Я была как нищая, приведённая во дворец и боящаяся испачкать золотой рукой-ник.

Вечером, преодолевая странную тяжесть, я вернулась в театр на сводную репетицию. И именно там, под сводами родного зала, на меня обрушилось настоящее.

Тихий шёпот, бывший до этого лишь фоном, стал громче, острее, приобрел форму и содержание. Девушки, разминавшиеся у станка, уже не просто косились — они откровенно пялились, а потом, поймав мой взгляд, отводили глаза с преувеличенной, оскорбительной невинностью. В воздухе висело не просто любопытство. Висел скандал. Он был густым, липким, как дым от горелого масла в лампе.

Я уловила обрывки фраз, долетавшие до меня:

«...у Воронцовых вчера весь вечер только об этом и говорили...»

«...сам Алексей Павлович капитану Семёнову признавался, дескать, не мог больше терпеть, совесть замучила...»

«...неверная, оказывается... опорочена... да ещё как...»

«...жаль, конечно, Петровскую, но где дым, там, знаешь, и огонь... Должно же было что-то быть, если такой человек, как Воронцов...»

Слова впивались в кожу, как мелкие, отравленные иголки. Лёд пробежал по спине, сменившись приливом жгучего, беспомощного жара к лицу. Он ударил первым. Публично, погусарски лихо, спасая свою репутацию. Классический ход: «Разорвал помолвку, узнав о неверности и порочности невесты». Алексей выставил меня не жертвой, а шлюхой, которую благородный мужчина с отвращением отверг. И самое чудовищное — этой грязной истории верили. Ей хотели верить. В одно мгновение моё «чудо» окрасилось грязным, пикантным оттенком скандала. Зависть в глазах кордебалета сменилась сладострастным любопытством. Я была уже не фениксом, возродившимся из пепла, а падшей звездой, и это низкое падение нравилось им, этим маленьким, злым девушкам, куда больше любого высокого взлёта.

Репетиция прошла в гробовой, напряжённой тишине, прерываемой лишь сухими, отрывистыми командами балетмейстера. Я танцевала на автомате. Тело, это идеальное, послушное орудие, выполняло команды безупречно: пируэты были чёткими, прыжки — высокими, позы — выверенными до миллиметра. Но внутри всё было пусто и застыло. Только пальцы, сжимавшие дерево станка в перерыве, выдавали бешеный, яростный ритм сердца, стучавшего где-то в висках, словно молот.

После репетиции я поехала на Фонтанку, в свою новую, роскошную клетку. Мысли путались, сливаясь в один сплошной, оглушительный гул унижения.

Летний вечер висел над Петербургом душной, бархатной тяжестью. Небо на западе, за шпилем Петропавловки, тлело малиновым и сизым золотом, словно огромная, угасающая рана. Я вышла на кованый балкон, оперлась о прохладный, узорчатый чугун и смотрела на тёмную, воду канала, на проплывающие, как призраки, баржи с тусклыми огнями. Снизу доносились крики извозчиков, смех, обрывки музыки из ресторана — вся жизнь большого города, которому не было дела до моей маленькой, растоптанной чести.

Внутри кипела не злость. Кипела беспомощная ярость. Я представляла самодовольное, наглое, лицо Алексея. Он где-то сейчас пирует с друзьями, пьёт шампанское и рассказывает похабную, весёлую историю о том, как «разоблачил» неверную невесту. И ему верят. Ему хлопают по плечу. Всегда верят таким, как он. Более того ему верят, потому что он мужчина. У меня была сила встать на пуанты, сила, купленная у тени, но я была абсолютно бессильна против одной сплетни, брошенной в благодатную почву светского любопытства.

И тогда, в горьком, удушающем вихре этих мыслей, стена, которую я так старательно выстраивала в душе, дала трещину. Ночь. Запах перегара и пота. Грубые, сильные руки, рвущие тонкую ткань не с страстью, а с презрительной торопливостью. Всепоглощающая боль, в которой физическое насилие сплелось с абсолютным, окончательным крушением всего мира. Его шёпот, полный отвращения и похоти, шипящий прямо в ухо: «Тебе место... в публичном доме... среди таких же уродцев...»

Тошнота, острая и реальная, подкатила к самому горлу. Мир на миг поплыл. Я вцепилась в холодные прутья решётки так, что металл врезался в ладони, оставляя на коже красные, болезненные борозды. Дышать стало нечем. Я зажмурилась, но под веками тут же вспыхнули картины: искажённое яростью его лицо, пятна света на потолке, собственная немота, своё тело, изогнутое в неймой, унижительной гримасе боли...

Я упивалась жалостью к себе, этой горькой, отравляющей сладостью, и в этом упоении почти не заметила, как исчезли звуки города.

Исчезли не постепенно. Они стихли, будто кто-то выключил гигантскую машину. Наступила абсолютная, восковая тишина.

И в этой тишине за моей спиной раздался голос. Спокойный, бархатный, с лёгкой, почти музыкальной интонацией.

— Вид, конечно, захватывающий. Хотя, должен признаться, немного... декадентский.

Я резко обернулась, сердце колотилось где-то в горле.

Он стоял посреди моей новой гостиной, спиной к камину, и неторопливо осматривался. Его тёмный костюм был безупречен, но казался скорее отсутствием света, чем тканью. Он так естественно смотрелся в гостиной, как будто стоял там с самого начала, а я только сейчас его заметила.

— Роскошь тебе удивительно к лицу, София, — продолжил мужчина, его взгляд скользнул по золочёным лепным розеткам на потолке.

Я не двинулась с места, прижавшись спиной к холодной решётке балкона.

— Прости, что прервал твоё увлекательное самоуничтожение, — Он изящно склонил голову, и в этом жесте была ирония, но не насмешка. — Я ошибочно полагал, неделя — достаточный срок, чтобы освоиться. Думал, застаю тебя в зените нового счастья. Но вместо этого... — Он сделал лёгкий, почти неосязаемый вдох. — Я почувствовал такую густую горечь, что не смог пройти мимо.

Почувствовал? Слово повисло в воздухе.

— Почувствовали? — выдавила я.

— Ну, конечно, — улыбнулся. Это была идеальная, обезоруживающая улыбка, в которой не было ни капли тепла. — Мы же связаны нашей сделкой. Самая тесная из связей.

Наконец, преодолевая дрожь в коленях, я сделала шаг внутрь, с балкона в гостиную. Он улыбался, замечая, как я впиваюсь взглядом в каждую деталь его облика — в безупречную линию бровей, в слишком правильные черты, в глаза, в которых плавали отсветы, но не от огней города.

Он прошёл к дивану, с шёлковой обивкой цвета спелой сливы, и опустился на него с грацией большого хищника, для которого даже покой полон скрытой энергии.

— Ещё раз прошу прощенье за вторжение без приглашения, — произнес он, откинувшись на спинку. — Но наш договор — это и есть моё приглашение.

Я стояла посреди комнаты, чувствуя себя непрошеным гостем в собственном доме. Диван был всего один и садиться рядом с ним я не осмеливалась. Он внимательно всматривался в мои глаза, кивнул своим мыслям и напротив дивана появилось кресло.

Я отшатнулась, чем вызвала у него улыбку, но набравшись смелости села.

— Ты просила, чтобы любовь «затмила» память о той ночи, — голос стал тише, интимнее, будто он делился секретом. — Но, увы, любовь — не моя специализация и дать ее так просто как что-то из материального сложнее, — мой таинственный гость обвел рукой пространство вокруг нас. — Но я мог бы внести дополнительный пункт в наше соглашение. Забрать эту рану в памяти. Оставить лишь... лёгкость. Чистый лист. Всё, что связано с ним, с той комнатой, с болью — просто исчезнет, как неприятный сон после пробуждения.

Он сделал паузу, давая мне ощутить вкус этого предложения. Забыть. Не чувствовать больше этого жжения стыда под рёбрами.

— О, цене мы договоримся, — Он отмахнулся, будто речь шла о чаевых. — Что-нибудь незначительное. Может быть...

Я зажмурилась. Представить себя без этой боли... нет. Она принадлежала мне. Единственное, что связывало меня с той Соней, которая лежала на полу и продала свою душу. Если я отдам это, кто я тогда?

— Нет, — выдохнула я, открывая глаза и перебивая. — Эта память... этот ужас... это часть меня. Какими ужасными бы не были воспоминания той ночи — я должна помнить их.

В его глазах вспыхнуло нечто похожее на интерес, как будто он не привык слышать «Нет.» и это не просто удивило, а поразило.

— Прекрасно, — прошептал он, и в голосе впервые прозвучала неподдельная, леденящая искренность. — Выбирать боль, чтобы остаться собой. Это...гораздо интереснее. Нетипично для человека.

Мой вопрос, который жёг меня с той ночи, вырвался не успев я прикусить язык:

— Кто вы?

Он рассмеялся. Звук был красивым, как звон хрусталя, но абсолютно безрадостным.

— У меня много имён в вашем мире. И все они либо слишком громкие, либо слишком мелкие. Ты и так прекрасно понимаешь мою сущность. Я — тот, кто берёт. И тот, кто даёт. По определённой... формуле.

В этот момент у меня от голода и напряжения свело живот. Тихий, предательский звук урчания прозвучал в гробовой тишине.

Его взгляд мгновенно сместился вниз, к моему животу, и брови изящно поползли вверх.

— За нашими душеспасительными беседами я совсем забыл, что я ещё и джентльмен. — Он с театральным ужасом, хлопнул себя по колену. — Нельзя же держать даму на пустой желудок, особенно после такого дня.

Мужчина щёлкнул пальцами и на изящном столике перед диваном появился ужин. Не просто ужин, а настоящий пир. Маленькие пирожные с малиной, мерцающие, как рубины. Шоколадный торт с завитками крема. Ваза с экзотическими фруктами.

Я смотрела на эту красоту с животным ужасом. «Нельзя», — застучало в голове.

Он следил за моим лицом, читая каждую мысль как открытую книгу.

— О, перестань, — произнес он мягко, почти ласково. — Позволь себе слабость хотя бы сегодня. Ведь мы отмечаем первую неделю нашего знакомства!

А затем отломил кусочек пирожного, поднял его, малина наверху блестела, как капля крови и протянул вилку ко мне.

Я смотрела на этот кусочек, на спокойное, ожидающее лицо. Но не могла дать себе такую слабость, даже под его искушением. Поэтому я медленно и осторожно протянула руку, взяла другую вилку, и наколола на нее кусочек арбуза из фруктовой вазы.

Подняв назад взгляд, я увидела, как он усмехнулся, покачал головой и отправил кусочек пирожного себе в рот.

Вкус арбуза, взрывной, сладкий, почти болезненный, заполнил рот. Я закрыла глаза от наслаждения. Для меня это и был самый вкусный десерт.

Когда я открыла глаза, он наблюдал за мной с тем же заинтересованным выражением.

С кошачьей грацией, подхватил со столика бутылку вина и налил в два хрустальных бокала тёмную и густую жидкость.

— Итак, София, — протянул мне один бокал. — Ты выбрала помнить, так давай выпьем за это смелое решение.

И поднял бокал, глядя на меня через тёмное вино, в котором отражалось пламя свечей, зажжённых ничьей рукой.

Я сделала один осторожный, маленький глоток и терпкость вина растеклась во мне теплом и горечью одновременно. От аромата напитка нахлынули отвратительные воспоминания,

горло сжалось, и я поспешила сделать ещё один глоток. Чтобы отогнать тошнотворные воспоминание, я попыталась завести беседу:

— Вы не представились ни в первую встречу, ни сейчас. Как я могу обращаться к вам?

— Ты хочешь знать и обращаться ко мне по имени?

— Да.

— Раскрытие истинного имени делает меня уязвимым, дает потенциальную власть моему противнику. Поэтому я не имею привычки называться им.

— Разве мы противники?

Он улыбнулся и протянул мне руку через пространство, отделявшее нас:

— Каиэль.

Я медленно, будто преодолевая невидимое сопротивление, протянула свою. Его пальцы сомкнулись вокруг моих. Прикосновение было ровно таким, каким я его помнила: прохладным.

— Каиэль, — повторила я, пробуя это имя на языке. Оно было не похоже ни на славянские, ни на западные имена. Оно звучало как отзвук в пустом зале. — И почему ваше имя дает власть противнику?

— Не знание имени человека страшит, — Он отпустил мою руку и откинулся на диване, его пальцы стали медленно водить по краю хрустального бокала, рождая тонкий, почти неслышный звон. — И дает власть вопрошающему призвать меня в любой момент.

Он отпил вина, наблюдая за мной через край бокала.

— Я могу просто позвать? По имени?

— Можешь, — кивнул с ленивой снисходительностью. — Но я не гарантирую, что явлюсь мгновенно, в блеске и с фанфарами. И уж точно не стану решать твои бытовые проблемы.

Я кивнула, пытаясь представить ситуацию, когда мне понадобилось бы позвать его, но решила, что постараюсь никогда не пользоваться этой привилегией.

— А теперь скажи мне, что же такого случилось сегодня?

Я опустила взгляд в тёмное вино. В его глубинах дрожали отражения свечей.

— Он... мой бывший жених... начал рассказывать всем свою версию. Что я была неверна и что он отверг меня, узнав о моей порочности. — Слова выходили с трудом, каждое — острый осколок, царапающий горло. — Теперь они всё смотрят на меня как на падшую. Им это нравится больше.

Каиэль слушал, не меняя выражения лица. Только его глаза, эти серебряные колодцы, казалось, поглощали не свет, а сам смысл моих слов.

— Я бессильна, — прошептала я. — И сломана.

Тишина.

Каиэль встал. Не торопясь, с той плавной неизбежностью, с которой делал всё. Подошёл к окну, постоял, глядя на огни Фонтанки. Потом обернулся.

— Сломлена, — подтвердил он. — Но не сломана.

Я смотрела на него. Ждала, что он скажет ещё что-нибудь, но продолжения не было.

Он взял свой бокал со стола, допил вино до дна, поставил обратно. Движения были такими окончательными, что я поняла раньше, чем он произнёс:

— Мне пора.

Каиэль дошёл до середины комнаты и остановился. Посмотрел на меня ещё раз — долго, внимательно, как смотрят на что-то, что хотят запомнить.

— Каиэль, — произнесла я его имя впервые так — без вопроса в конце, просто так.

Он чуть наклонил голову.

— Спокойной ночи, София.

И растворился в тени у книжного шкафа так же бесшумно, как появился.

Я сидела с бокалом в руке и смотрела на то место, где он только что был.

Сломлена. Но не сломана.

Не знала, правда ли это. Но почему-то именно сейчас хотела в это верить.

Потушив свечи одну за другой, я отправилась в спальню.

В тишине, прежде чем лечь в огромную, пустую кровать, я прошептала в темноту:

— Спасибо.

Ответом была лишь тишина. Но теперь в этой тишине я слышала не одиночество, а тихий, мощный гул собственного сердца, бьющегося в такт новой, страшной и неотвратимой судьбе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Санкт-Петербург, 1886 год

Неделя. Этого хватило, чтобы сплетня, пущенная Алексеем, въелась в позолоченную кожу Петербурга, как трупный яд. Чтобы отгородиться от этого шепота, я погрузилась в работу, превратив свою квартиру в репетиционный зал. Теперь здесь царил не только мой одинокий дух, но и тихое присутствие прислуги — на которую мне хватало моего нового жалования.

Две женщины — немолодая, степенная Анна и юная, ловкая Лиза — появились как бы сами собой, словно антураж к роскошным обоям и паркету «ёлочкой». Их почтительность была профессиональной и абсолютной, эта отстранённость мне подходила. Я не хотела иметь ни дружбы, ни привязанностей.

Вечером, в день званого ужина у княгини Волконской, моя опочивальня превратилась в мастерскую. Лиза, с руками, быстрыми и лёгкими как крылья мотылька, помогала мне облачиться в платье — новое, сшитое на заказ в ателье на Невском. Оно было цвета ночи перед рассветом — глубокого, бархатисто-серого с сиреневым подтоном, который на свету переливался, как голубиное крыло. Покрой — строгий, почти аскетичный, с узким лифом, подчёркивающим гибкость талии, и мягко ниспадающей юбкой. Спина — открыта ровно настолько, чтобы дразнить взгляд, но не вызывать откровенного осуждения. Ткань, тяжёлый шёлк-сатин, при каждом движении шелестела тихим, властным шёпотом.

Затем Анна принялась за волосы. Она заплела часть волос у висков, а основную массу собрала в низкий, изящный узел на затылке, выпустив несколько намеренно небрежных завитков, обрамлявших лицо. Причёска говорила не о желании понравиться, а о сдержанной уверенности в себе. Лицо оставалось почти без косметики — лишь тушь, чтобы подчеркнуть огромные глаза цвета грозового неба с тёмным ободком. Моим оружием была не яркая краска, а бледность, резкость черт и этот новый, непроницаемый взгляд.

Я встала перед высоким трюмо. В отражении смотрела на меня не та измождённая девушка. Смотрела холодная, отстранённая незнакомка. Силуэт был безупречен, но в нём не было и тени легкомысленной радости.

— Карету подали, барышня, — доложила Анна.

Огни особняка Волконских на Дворцовой набережной лились на мокрый от дождя асфальт. Внутри был тот особый, густой гул петербургского раута: смесь французской речи, звона хрусталя, шёпота шёлка и запахов жареной дичи, трюфелей и воска от бесчисленных свечей в богемских люстрах. Дамы в платьях с турнюрами, осыпанные бриллиантами, кавалеры во фраках и мундирах с орденами, всё кружилось в медленном, изысканном хороводе.

Меня встретили как диковинный экспонат. Взгляды скользили по мне: любопытные, оценивающие. Я уловила обрывки: «...та самая Петровская...», «...после травмы...», «...Воронцов-то ловко вышел...», «...бедный ее папенька...».

Примерно через пол часа с момента моего приезда, я увидела его. Алексей стоял в кругу гусар, блистая своим неизменным самодовольством и бахвальством. Рядом с ним, почти повиснув на его руке, была Мария Степанова в вызывающем алом платье. Она ловила каждый его взгляд и неестественно громко хихикала, а её собственный взгляд на меня был полон торжествующего презрения. Пазл в моей голове щёлкнул. Её усердие в сплетнях и личная злоба. Я

не только была ее главной конкуренткой на сцене, но и главной соперницей за сердце этого гадкого человека. Теперь она с воодушевлением боролась за место рядом с ним, с жадностью ухватившись за возможность.

Алексей заметил меня. Его улыбка не дрогнула, и он демонстративно поднял бокал шампанского в мою сторону и сделал глоток. Жест был кричаще оскорбительным. Довольная Мария захихикала, а вот мужчины, стоявшие рядом с ними, смотрели на меня без всякой доли безразличия, они наслаждались тем, что видели.

Желудок сжался в ледяной узел, но на лице у меня не дрогнул ни один мускул. Я просто вопросительно выгнула одну бровь и повернулась к нему спиной. Полное, абсолютное игнорирование. В свете, где каждый взгляд имеет значение, это было острее пощёчины. Краем глаза я увидела, как его улыбка на миг сползла.

— Соня! Боже, как я рада тебя здесь видеть!

Из толпы, пахнувшей пачулями и нервозностью, выпорхнула Лида. Она выглядела чуть уставшей, но её глаза искрились радостью. В её взгляде не было той липкой жалости или любопытства, что витало вокруг.

— Ты просто сияешь! — прошептала она, обнимая меня. — И это платье... Господи, всё только о тебе и говорят.

— Добрым словом? — спросила я с лёгкой, холодной усмешкой.

— Ох, Сонь... — Лида потупилась. — Ты же знаешь, какие они. Но я-то вижу — ты держишься. И как держишься надо сказать!

Она увлекла меня в сторону, к столу с закусками, уставленному семгой, икрой в серебряных вальтеровских судках и пирамидами из экзотических фруктов.

— Мария совсем с ума сошла после своей травмы, — наклонилась она к моему уху. — Она сегодня в ударе. И, кажется, всерьёз положила глаз на твоего бывшего жениха. Это придаёт ей... особого рвения.

— Я заметила, — сухо ответила я.

Наше уединение прервал пожилой господин с орденом на груди — известный критик и меценат Владимир Яковлев.

— Мадемуазель Петровская! Позвольте выразить восхищение. Ваше возвращение — лучшее, что случилось с балетом за этот сезон. Говорят, вы уже выбрали партию для дебюта?

Его тон был безупречно вежливым, но глаза выспрашивали: «Кем вы станете — жертвой или соблазнительницей? В соответствии со сплетнями».

Я встретила его взгляд спокойно.

— Благодарю вас, Владимир Сергеевич. Я ещё размышляю между хрупкостью и силой. Между тем, что отнимают, и тем, что отдают добровольно. Думаю, ответ станет ясен на днях.

Мой уклончивый, но полный намёков ответ, кажется, удовлетворил его. Он кивнул, пообещал непременно быть на премьере и отбыл в сторону более шумной компании.

Вечер тёк дальше. Были лёгкие беседы с композитором, сетовавшим на тесноту форм, с женой какого-то сановника, обсуждавшей последние парижские моды, с Петипа, который мельком кивнул мне с одобрением — он ценил, что я не прячусь, а вышла в свет, несмотря на шум вокруг моей персоны. Каждый диалог был фехтовальным поединком, где моим клинком была холодная вежливость, а щитом — абсолютная уверенность, купленная в ту ночь по самому дорогому счёту.

Позже, направляясь в дамскую уборную поправить причёску, я услышала за дверью знакомый сладкий голос. Мария что-то живо обсуждала с кем-то:

— ...да она просто делает вид! Всё и так ясно. Сидит в своих палатах на Фонтанке, как паучиха, и боится шелохнуться, как бы старый паук не решил, что пора выпить кровь...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.